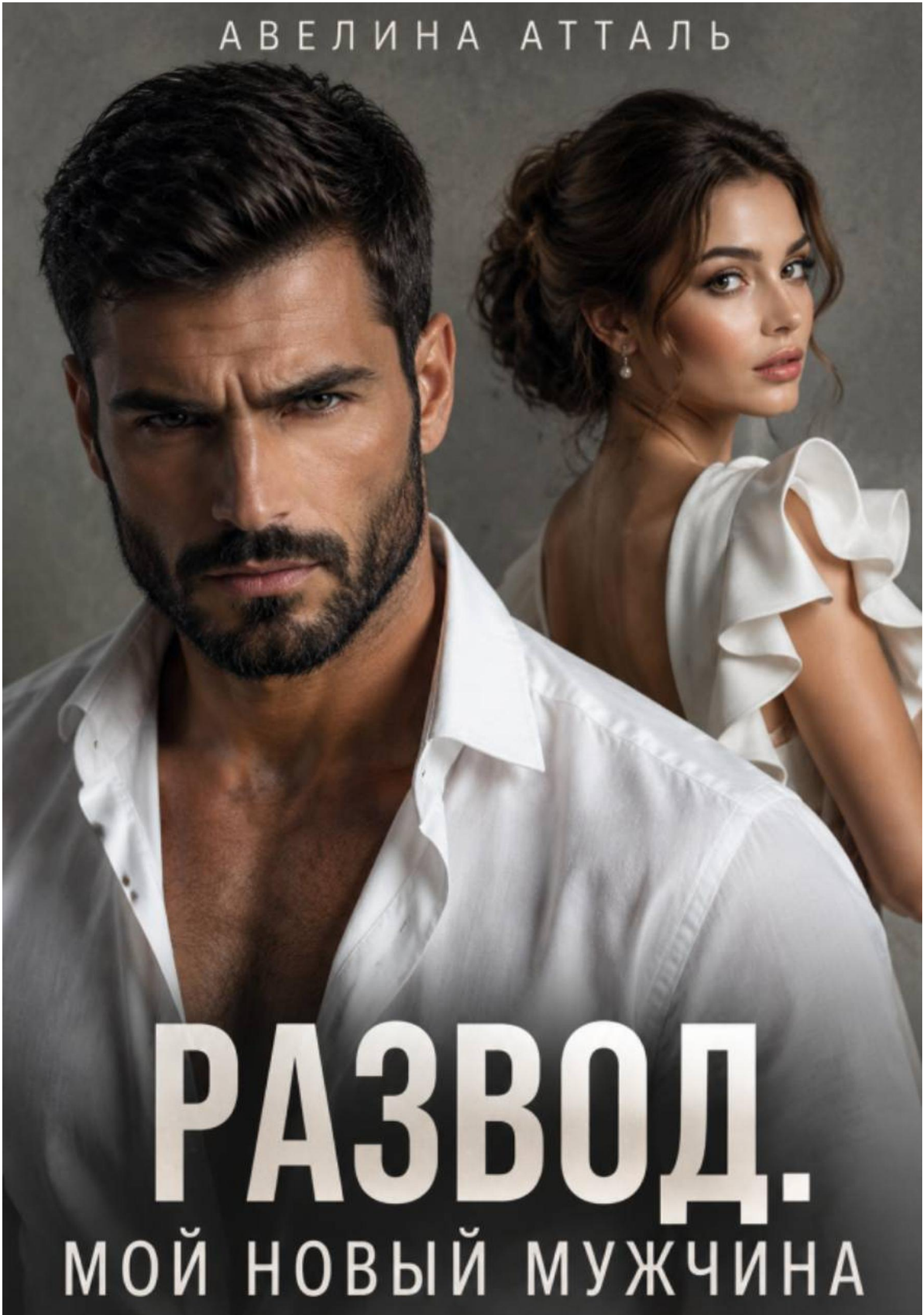
АВЕЛИНА АТТАЛЬ



РАЗВОД.

МОЙ НОВЫЙ МУЖЧИНА

Авелина Атталь

Развод. Мой новый мужчина

«Автор»
2026

Атталь А.

Развод. Мой новый мужчина / А. Атталь — «Автор», 2026

Я двенадцать лет «реставрировала» свой брак. Сглаживала, молча терпела ради красивой картинки и репутации Пока однажды он не сказал: - У меня другая. Я подал на развод. Тогда я взяла скальпель и сняла верхний слой с нашего брака. И нашла крутой артефакт - себя. А ещё - мужчину, который однажды вошёл в мою мастерскую. Он не обещал мне новую жизнь. Он просто был рядом, пока я возвращала себе свою.

© Атталь А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Грунт 6
Глава 2. Расчистка 10
Глава 3. Встреча 13
Глава 4. Секрет 17
Глава 5. Дерево 21
Глава 6. Мастерская 25
Глава 7. Стол 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Авелина Атталь
Развод. Мой новый мужчина

Глава 1. Грунт

Я не услышала, как он вошёл. Не потому что была занята - я как раз стояла у окна и смотрела на двор, где дворник медленно, с какой-то обречённой методичностью сгребал в кучу мокрые листья, - а потому что за двенадцать лет привыкла к звуку его шагов настолько, что перестала их различать, как перестаёшь слышать тиканье часов в собственной квартире: оно есть, оно всегда рядом, но оно уже не часть твоего внимания, а часть фона, и ты вспоминаешь о нём только когда часы вдруг останавливаются.

Кирилл остановился в дверях. Не прошёл, как обычно, на кухню - бросить ключи на стол, открыть холодильник, спросить, есть ли что-нибудь поесть, - а именно остановился, и я почувствовала это спиной раньше, чем обернулась: что-то в его молчании было не таким, как всегда, что-то слишком плотное, слишком собранное, как будто он репетировал эту минуту и теперь боялся сбиться.

- Вера...

Я обернулась. Он стоял в тёмном костюме, в рубашке, которую я не видела раньше - светлая, с тонкой полоской, наверное, очень дорогая, - и в руке у него не было ни портфеля, ни ключей, ни телефона, как будто он вышел не на работу, а из какой-то другой жизни, куда я не имела доступа.

- Что-то случилось? - спросила я, и голос прозвучал ровно, почти буднично, потому что за двенадцать лет я научилась задавать этот вопрос именно так: без тревоги, без надрыва, без желания услышать правду раньше, чем её скажут.

- Да, - сказал он. - Случилось.

Он прошёл в комнату, но не сел - не на диван, не в кресло, где обычно сидел с телефоном, листая новости, - а остался стоять посреди гостиной, как чужой, как гость, который не знает, куда деть руки, и я вдруг отметила, что он постарел: не внешне - внешне он как раз выглядел лучше, чем год назад, загорелый, подтянутый, с новой стрижкой, - а как-то иначе, глубже, в самой манере держаться, как будто он уже принял решение, которое я ещё не знала, и это решение делало его старше и одновременно чужим.

- Я ухожу, - сказал он.

Слово упало в тишину, и я услышала его не сразу - не как смысл, а как звук, как удар, как что-то, что сначала отскакивает от барабанной перепонки, а потом уже доходит до сознания и там медленно, очень медленно разворачивается, занимая всё больше места, вытесняя воздух, вытесняя мысли, вытесняя всё, что было до этого момента.

- У тебя другая... - сказала я. Не спросила. Просто констатировала, как констатируют диагноз, который давно подозревали, но боялись подтвердить.

Кирилл молчал. И это молчание было красноречивее любых слов.

- Я подал на развод, - сказал он наконец, и в его голосе не было ни вины, ни злости, ни даже той неловкости, которую испытывают люди, когда причиняют боль, - была только какая-то деловая собранность, как будто он сообщал о переносе встречи или о том, что машина сломалась и придётся взять такси.

Я смотрела на него и думала: когда он успел стать таким чужим? Когда именно тот человек, за которого я выходила замуж - с неловкой улыбкой, с дурацким галстуком, с букетом, который он держал неправильно, потому что никогда раньше не дарил цветов, - превратился в этого мужчину с ровным голосом и отсутствующими глазами, который стоит посреди моей гостиной и говорит «я подал на развод» так, как говорят «я оплатил счета»?

- Давно? - спросила я, и сама не поняла, что имею в виду: давно ли у него другая, давно ли он решил, давно ли подал.

- Неважно, - сказал он. - Это уже не имеет значения.

И вот это - «не имеет значения» - ударило сильнее, чем само «я ухожу», потому что в этих трёх словах было всё: и то, что моё мнение больше не учитывается, и то, что мои чувства больше не в счёте, и то, что двенадцать лет - двенадцать лет! - моего терпения, моего молчания, моего умения сглаживать углы и делать вид, что всё хорошо, - всё это вдруг оказалось просто черновиком, который скомкали и выбросили, потому что переписали заново, с чистого листа, и меня в этом новом тексте уже не было.

- Хорошо, - сказала я.

Я сама не ожидала, что скажу это. Но слово вышло ровным, почти спокойным, и я вдруг поняла, что не буду ни кричать, ни плакать, ни хватать его за руку, ни спрашивать «почему», ни умолять «останься», - не потому что мне было всё равно, а потому что где-то в глубине, под всеми этими слоями - терпения, привычки, страха, - что-то уже давно знало, что этим всё закончится, и это что-то теперь просто поднялось на поверхность, как поднимается изображение под слоем старого лака, когда его начинают снимать.

Кирилл, кажется, ждал другого. Он моргнул, чуть подался вперёд, как будто хотел что-то сказать, - и я вдруг увидела, что он растерян. Что он готовился к сцене, к слезам, к упрёкам, к тому, что я буду цепляться за него, как цепляются за последнюю соломинку, - а я не цепляюсь. Я стою. И смотрю. И молчу.

- Вера, - сказал он, и в голосе впервые за всё это время появилось что-то человеческое, - я не хотел, чтобы так…

- Не надо, - перебила я. - Пожалуйста, не надо.

Я не хотела слышать ни оправданий, ни объяснений, ни того, как он будет подбирать слова, чтобы остаться в моих глазах порядочным человеком, - потому что порядочные люди не уходят вот так, не поставив в известность заранее, не оставив хотя бы шанса на разговор, на попытку, на что угодно, кроме этого холодного, делового, окончательного «я подал на развод».

Он постоял ещё немного, потом кивнул - сам себе, что ли, - и пошёл к двери. В прихожей он замедлился, как будто ждал, что я окликну, - и я действительно открыла рот, но не для того, чтобы его остановить, а для того, чтобы сказать что-то другое, важное, то, что вдруг поднялось из самой глубины и просилось наружу, - но не сказала. Промолчала. Как молчала двенадцать лет. Только теперь это молчание было другим: не сглаживанием, а гранью.

Дверь закрылась.

Я постояла ещё немного посреди гостиной, слушая, как стихают его шаги на лестнице, как хлопает внизу входная дверь, как во дворе заводится машина - новая, с другим звуком двигателя, я узнала бы этот звук из тысячи, потому что слышала его последние полгода каждое утро и каждый вечер, - и потом всё стихло. Только дворник за окном всё ещё скрёб асфальт, да где-то наверху соседская девочка играла на скрипке одну и ту же гамму, снова и снова, с упрямой настойчивостью человека, который ещё не знает, что такое поражение.

Я подошла к столу. На нём лежал чек - тот самый, из ювелирного, на браслет, размер которого я никогда не носила, - я нашла его неделю назад в кармане его пиджака, когда относила вещи в химчистку, и с тех пор он лежал здесь, на столе, как улика, как доказательство, как то, что я не хотела замечать, но уже не могла не замечать. Я взяла его, посмотрела на цифры, на дату, на название магазина - и вдруг мне стало не больно. Не потому что прошло, а потому что больно стало где-то не здесь. Не в этой комнате. Не в этом моменте. А там, в мастерской, где меня ждала картина.

Картина.

Я вздрогнула, как будто вспомнила о чём-то важном, что чуть не забыла, - и это «чуть не забыла» было первым признаком того, что что-то во мне сдвинулось, потому что ещё час назад картина была для меня работой, заказом, задачей, а теперь она была спасением, убежищем, единственным местом, где я знала, что делать.

Я накинула пальто - то самое, старое, с потёртыми локтями, которое Кирилл терпеть не мог и каждый раз спрашивал, когда я наконец куплю нормальное, - и вышла из дома, не заперев дверь, потому что там уже нечего было запирать.

До мастерской было двадцать минут пешком. Я шла быстро, почти бежала, хотя никуда не опаздывала, - просто ноги сами несли меня прочь от этого дома, от этой комнаты, от этого чека на столе, - и по дороге думала о том, что странно: я не чувствую того, что должна чувствовать. Не чувствую пустоты. Не чувствую страха. Не чувствую даже злости - той самой злости, которая, как мне казалось, должна была бы сейчас разорвать меня изнутри, заставить кричать, бить посуду, звонить ему, писать, мстить, что-то делать. Вместо этого внутри была какая-то странная, почти непроницаемая тишина - как в мастерской, когда закрываешь дверь, выключаешь телефон и остаёшься одна с картиной, - и в этой тишине очень ясно, очень отчётливо, очень настойчиво звучала одна мысль: **картина ждёт**.

Мастерская находилась в старом доме, во флигеле, где раньше была прачечная, а теперь - три художника, скульптор и я, реставратор, - и когда я поднималась по лестнице, выкрашенной в тот же грязно-жёлтый цвет, что и двенадцать лет назад, я вдруг подумала, что вот это место - это единственное, что за все эти годы не изменилось. Кирилл менялся, квартира менялась, машины менялись, я сама менялась - а мастерская осталась. С тем же запахом - скипидар, лак, пыль, старый холст, - с тем же светом из высоких окон, с тем же скрипом половиц, с тем же ощущением, что здесь время идёт иначе, медленнее, глубже, честнее.

Я открыла дверь, вошла, заперлась - на два оборота, как всегда, - и только тогда, прислонившись спиной к холодной стене, сползла на пол.

Не заплакала. Просто сидела. Смотрела на картину - ту самую, XIXвек, женский портрет, над которым я работала уже третий месяц, - и молчала. Молчала так, как молчала всё это время, но теперь это было другое молчание: не сглаживание, не терпение, не привычка. А что-то вроде согласия. Согласия с тем, что произошло. Согласия с тем, что будет.

Картина стояла на мольберте, укрытая лёгкой тканью, и я смотрела на эту ткань и думала о том, что под ней - слой. Верхний слой, написанный сто лет спустя, чужой рукой, чужой волей, - а под ним, я знала, я чувствовала, я видела по кракелюрам, по мазкам, по натяжению холста, - было другое лицо. Более раннее. Более живое. Настоящее.

Я поднялась с пола, подошла к мольберту, сняла ткань - медленно, как снимают покрывало с чего-то, что не хочет, чтобы его видели, - и включила лампу.

Свет упал на портрет.

Женщина с картины смотрела на меня - спокойно, чуть насмешливо, как смотрят люди, которые знают о тебе больше, чем ты сама, - и я вдруг почувствовала, что не одна. Что вот эта женщина, написанная двести лет назад, тоже когда-то была чьей-то женой. Тоже, наверное, сглаживала. Тоже молчала. Тоже позволяла переписывать себя - слой за слоем, мазок за мазком, - пока под верхним, парадным, удобным, красивым изображением не осталось почти ничего от оригинала.

- Ты тоже, - сказала я тихо, и голос прозвучал в пустой мастерской странно, гулко, как будто я говорила не с картиной, а с собой. - Тебя тоже переписали. Но я тебя верну.

Я взяла скальпель. Маленький, острый, привычный в руке, как продолжение пальцев, - и поднесла к холсту. И в этот момент, когда остриё почти коснулось верхнего слоя, я вдруг поняла, что не могу. Не могу сегодня. Руки дрожат. Глаза не видят. Голова не работает.

Я отложила скальпель. Села на табурет. Обхватила себя руками за плечи - и только тогда, наконец, заплакала. Тихо, без всхлипов, без воя, без истерики, - просто слёзы потекли по щекам, одна за другой, ровно, спокойно, как будто внутри меня открылся какой-то клапан, который двенадцать лет был закрыт, и теперь всё, что копилось, всё, что сглаживалось, всё, что молчало, - выходило наружу.

Я плакала и думала: как жить дальше? Что делать? Куда идти? Кто я теперь - без него, без роли «жены Кирилла», без этой красивой картинки, которую я так старательно поддерживала? Что осталось от меня самой - под всеми этими слоями?

И ответ приходил медленно, с трудом, как проступает изображение под снятым лаком: я - реставратор. Я умею снимать слои. Я умею возвращать оригинал. Я справлюсь.

Я просидела в мастерской до утра. Не работала - просто сидела, смотрела на картину, думала, вспоминала, плакала, снова думала. А когда за окном начало светать - серо, робко, по-зимнему, - я встала, умылась холодной водой из-под крана, посмотрела на себя в маленькое, мутное зеркало над раковиной и сказала вслух, тихо, но твёрдо:

- Ну что ж. Начнём.

И взяла скальпель.

Глава 2. Расчистка

Скальпель в руке - это не инструмент. Это продолжение меня. Я держу его так, как другие держат ручку или сигарету, - не думая, не проверяя, не сомневаясь, - и когда остриё касается поверхности холста, я перестаю быть Верой. Я становлюсь никем. Я становлюсь руками. Глазами. Дыханием. Я становлюсь тем самым пространством между мной и картиной, где нет ни Кирилла, ни развода, ни чека на браслет, ни двенадцати лет, которые я потратила на то, чтобы сглаживать, молчать и делать вид, что всё хорошо, - есть только холст, лак, краска и моё терпение, которое, оказывается, никуда не делось, просто раньше тратилось не туда.

Я начала с угла. Всегда начинаю с угла - там, где меньше всего риска, где можно пробовать, ошибаться, привыкать к руке, - и первый мазок ватного тампона, смоченного в мягком растворителе, снял верхний лак так легко, что я даже вздрогнула: иногда верхний слой уходит почти без сопротивления, как будто картина сама хочет, чтобы её освободили, - и это всегда плохой знак, потому что настоящая реставрация - это не когда легко, а когда ты чувствуешь каждый миллиметр, каждую трещинку, каждое сопротивление материала, и понимаешь, что имеешь дело с чем-то живым, с чем-то, что имеет свою волю и свою память.

Я работала медленно. Медленнее, чем обычно. Медленнее, чем позволяло время. Но сегодня мне было всё равно - сегодня у меня не было ни времени, ни плана, ни расписания, ни заказчика, который ждёт результат к определённой дате, - была только я, картина и тишина, в которой я наконец могла дышать.

Под лаком открылся верхний слой - тот самый, парадный, написанный сто лет спустя. Женщина в тёмном платье, с высокой причёской, с гладким, почти фарфоровым лицом. Красивая. Правильная. Идеальная. Такая, каких пишут для гостиных и парадных портретов, - чтобы висела над камином, чтобы гости говорили «ах, какая прелесть», чтобы никто не задумывался, кто это, зачем, почему, что под этим гладким, ровным, мёртвым слоем.

Я смотрела на неё и думала: вот так и я. Двенадцать лет - гладкая. Ровная. Правильная. Жена коммерческого директора. Хозяйка квартиры с ремонтом. Женщина, которая умеет молчать, когда надо молчать, и улыбаться, когда надо улыбаться, и не задавать вопросов, когда вопросы неуместны. Красивая картинка для гостей. Парадный портрет. А под ним - я. Настоящая. Живая. Забытая.

Я сняла верхний слой с плеча женщины. Потом - с шеи. Потом - с подбородка. И когда ватный тампон прошёл по линии губ, я вдруг увидела: под верхним слоем - другой. Тонкая линия. Едва заметная. Но она была. Другая линия губ - мягче, живее, чуть асимметричная, как бывает у людей, которые умеют смеяться, - и я замерла. У меня под руками была не просто картина. У меня под руками была женщина, которую кто-то переписал. Замазал. Сделал удобной. Правильной. Мёртвой.

- Кто ты? - спросила я тихо.

Картина не ответила. Картины никогда не отвечают. Но я знала: под этим гладким, парадным, чужим лицом - другое. Живое. Настоящее. И я найду его. Даже если на это уйдёт месяц. Даже если на это уйдёт год. Даже если весь мир будет стоять у меня за спиной и говорить «зачем, оставь, зачем тебе это, живи как жила», - я не оставлю. Потому что я - реставратор. Это не работа. Это характер.

Я проработала до полудня. Не ела. Не пила. Не смотрела на телефон - он лежал в сумке, отключённый, и я знала, что там, наверное, уже сообщения, звонки, может быть, даже от него - «нам надо поговорить», «я заеду за вещами», «скажи, когда тебе удобно», - но мне было всё равно. Я не хотела говорить. Я хотела работать. Я хотела снимать слой за слоем. Я хотела

вернуть эту женщину к жизни. Потому что если я смогу вернуть её - значит, смогу вернуть и себя.

К обеду я расчистила левую часть лица. Только левую - правую оставила на потом, потому что там верхний слой был плотнее, темнее, труднее, - и когда я отступила на шаг и посмотрела на то, что получилось, у меня перехватило дыхание. Под верхним, мёртвым, правильным лицом проступало другое. Моложе. Живее. С чуть заметной улыбкой в уголке губ. С глазами, которые - я готова была поклясться - смотрели прямо на меня.

Я стояла и смотрела. Долго. Минуту. Две. Пять.

А потом зазвонил телефон. Стационарный. Тот самый, старый, с диском, который я держала в мастерской для клиентов, потому что не хотела, чтобы личный номер гулял по всем базам и базам данных. Я вздрогнула - не от звука, а от того, что он вернул меня в реальность, - и подошла. Сняла трубку.

- Мастерская Веры Николаевны, - сказала я, и голос прозвучал чуть хрипло, потому что я не говорила уже несколько часов.

- Здравствуйте, - сказал мужчина на другом конце. Голос был низкий, спокойный, чуть с хрипотцой, как у людей, которые много курят или много молчат. - Меня зовут Андрей Сергеевич. Я по поводу картины. Мне дали ваш номер в музее. Сказали, вы берёте сложные заказы.

Я запнулась. Обычно мне это было не свойственно, я сразу переходила на деловой тон - да, беру, привозите, посмотрю, скажу сроки и стоимость, - но сейчас я стояла посреди мастерской, с ватным тампоном в одной руке и скальпелем в другой, и смотрела на женщину с картины, которая смотрела на меня, и чувствовала, что не могу говорить о деньгах.

Не сегодня. Не сейчас. Не после того, как утром мой муж сказал «я подал на развод».

- У вас есть картина? - спросила я наконец.

- Есть, - сказал он. - Семейная реликвия. Портрет. Девятнадцатый век. Но там… - он замолчал на секунду, как будто подбирал слово, - там что-то не так. Под верхним слоем что-то есть. Я не знаю, что. Но я чувствую.

Я замерла. «Под верхним слоем что-то есть. Я не знаю, что. Но я чувствую».

Он сказал это так, как сказала бы я. Как сказала бы любая, кто хоть раз держала в руках картину, которая хочет, чтобы её услышали.

- Привозите, - сказала я. - Я посмотрю.

- Когда? - спросил он.

- Завтра, - сказала я. - Утром. В десять.

- Хорошо, - сказал он. И потом, после паузы, чуть тише: - Спасибо.

Я положила трубку. Постояла ещё немного. Посмотрела на картину - на женщину, которая смотрела на меня своими живыми, только что проступившими глазами, - и вдруг поняла, что впервые за сегодняшний день - за этот долгий, страшный, пустой день - мне стало не всё равно.

Жизнь продолжается!

Кто-то приедет завтра. Кто-то привезёт картину. Кто-то говорит «я чувствую». И, может быть, - только может быть, - этот кто-то увидит то, что вижу я.

Я вернулась к мольберту. Взяла скальпель. И продолжила работать.

До вечера я расчистила всё лицо. Медленно. Осторожно. Слой за слоем. И когда за окном стемнело, и я наконец отступила на шаг, чтобы посмотреть на результат, - я увидела её. Настоящую. Ту, которую прятали двести лет. Молодую женщину с живыми глазами, с лёгкой улыбкой, с чуть растрёпанными волосами - такую, каких пишут не для парадных залов, а для себя, для памяти, для любви. Она смотрела на меня, и в её взгляде было что-то такое, от чего у меня защипало в глазах.

- Привет, - сказала я тихо. - Вот ты и вернулась.

И в этот момент, стоя перед картиной в пустой мастерской, с грязными от растворителя руками и слезами, которые я даже не пыталась сдержать, я вдруг поняла: я справлюсь.

Не потому что я сильная. Не потому что я умная. Не потому что у меня есть план. А потому что я - реставратор. Я умею снимать слои. Я умею возвращать оригинал. И если я смогла вернуть эту женщину - значит, смогу вернуть и себя.

Я выключила лампу. Накинула пальто. И пошла домой - в пустую квартиру, где больше не было его вещей, где пахло незнакомо и странно, где на столе всё ещё лежал тот самый чек, - но по дороге я думала не о нём. Я думала о завтра. О мужчине, который позвонил. О картине, которую он привезёт. О том, что скажет он, когда увидит мою работу. И о том, что скажу я.

Глава 3. Встреча

Я проснулась в пустой квартире, в которой ещё вчера был муж, а сегодня не было ничего, кроме тишины и запаха нового и оттого чужого одеколона, который он оставил в ванной.

И неожиданно первое, что я почувствовала, было не горе, не страх, не одиночество, а холод. Не тот, что снаружи, за окном, где ноябрь уже вовсю хозяйничал, сдирая с деревьев последние листья, - а другой, внутренний, который не зависит от батарей и пледов, потому что идёт изнутри, из самой середины, из того места, где двенадцать лет было тепло, а теперь - сквозняк.

Я лежала, смотрела в потолок, на трещину, которую мы собирались заделать ещё три года назад, но так и не заделали, потому что Кирилл говорил «потом, сейчас важнее ремонт на кухне, потом, сейчас важнее машина, потом, сейчас важнее…» - и я вдруг поняла, что «потом» уже не будет.

Ни ремонта. Ни кухни. Ни машины. Ни его.

Только я. И трещина на потолке. И пустая квартира, в которой эхо от моих шагов звучит громче, чем должно.

Я встала. Не стала пить кофе - хотя обычно не могла без него - потому что вдруг поняла, что не хочу. Не хочу делать что-то привычное. Не хочу притворяться, что утро обычное. Не хочу быть той Верой, которая вставала в семь, сварила кофе, налила ему в кружку - синюю, с отбитой ручкой, которую он так и не выбросил, - и шла в мастерскую, как будто ничего не происходит.

Потому что теперь всё происходило. И происходило со мной.

Я собралась быстро. Надела старые джинсы - те, которые он не любил, говорил, «ты в них как студентка», - и свитер с затяжками, который он тоже не любил, потому что «надо выглядеть прилично, ты всё-таки жена директора». Я нарочно надела именно их. И, глядя на себя в зеркало, в первый раз за двенадцать лет подумала: а ведь мне идёт.

Не «прилично». Не «как жена директора». А просто мне идёт. Странно, что я забыла об этом.

Дорога до мастерской заняла двадцать минут, но сегодня они были другими. Я не бежала. Я шла. Смотрела на людей, на машины, на мокрый асфальт, на дворников, которые снова скребли листья, - и думала о том, что мир не изменился. Ни капли. Люди так же спешили на работу, так же пили кофе в термокружках, так же ругались в пробках, - и только во мне что-то сдвинулось. Как слой лака, который тронули растворителем. Ещё не сняли. Но уже тронули.

В мастерской я первым делом включила свет, открыла окно - проветрить от запаха растворителя, который вчера не успела выветрить, - и остановилась перед картиной.

Женщина смотрела на меня всё также. Живая. Молодая… С чуть заметной улыбкой. Я смотрела на неё вчера до ночи, и сегодня, при дневном свете, она казалась ещё более настоящей - как будто за ночь она окончательно проснулась, сбросила с себя остатки чужого, парадного, мёртвого и вернулась к себе.

- Доброе утро, - сказала я ей. И не почувствовала себя сумасшедшей. Потому что говорить с картиной - это не безумие. Это разговор с той, кто понимает тебя лучше, чем большинство живых.

Я успела сделать немногое - только прошлась ватным тампоном по правому плечу, где верхний слой был особенно плотным, - когда в дверь постучали. Ровно в десять. Минута в минуту.

Я открыла. На пороге стоял мужчина. Я сразу отметила, что он не такой, как Кирилл. Кирилл входил в помещение как хозяин - громко, широко, заполняя собой всё пространство, -

а этот стоял тихо. Ждал. Смотрел с любопытством. Не заполнял собой пространство, а просто был.

Ему было около сорока - может, чуть меньше, - и он был из тех мужчин, которых не замечаешь в толпе, но запоминаешь, если увидел один раз. Не красавец. Не модель. Но что-то в нём было - в том, как он держал руки, как смотрел, как молчал, - от чего я вдруг вспомнила, что я женщина. Не «жена Кирилла». Не «реставратор». Не «та, которая сглаживает». А просто женщина, на которую смотрят.

- Андрей, - сказал он, опустив отчество. - Я звонил.

- Вера, - сказала я. - Проходите.

Он вошёл. Осторожно… Как обычно входят в церковь или в чужой дом, где не хотят ничего сдвинуть с места. Он нёс картину - большую, завёрнутую в плотную ткань и стянутую ремнями, - и держал её так, как держат не вещь, а что-то живое. Нежно и бережно.

Я это отметила. Я всегда отмечаю, как человек держит картину. По этому можно сказать о нём больше, чем по словам.

- Куда? - спросил он.

- Вон там, - я показала на пустой мольберт у окна. - Ставьте. Осторожно.

Он поставил. Медленно и аккуратно. Потом расстегнул ремни, снял ткань - и я увидела картину.

Ещё одна женщина. Везёт мне на них!.. Молодая. Тёмные волосы. Прямое, спокойное лицо. Но что-то было с ней не так - я поняла это сразу, ещё до того, как подошла поближе. Слишком гладкое лицо. Слишком ровные мазки. Слишком правильные черты. Как будто кто-то очень старался сделать красиво - и перестарался. Убил живое.

Я подошла и наклонилась. Посмотрела на кракелюры - сеть трещинок на поверхности. Они были неравномерными. Гуще - на фоне. Реже - на лице. А это значило только одно: лицо переписывали. Позже. Другим составом. Другой рукой.

- Вы правы, - сказала я. - Под верхним слоем что-то есть.

Он промолчал и это показалось мне удивительным.

Я обернулась. Мужчина смотрел не на картину, он смотрел на меня - вернее, на то, как я смотрю на картину. И в этом взгляде не было ни любопытства, ни оценки, ни того, как обычно смотрят на женщину, - было что-то другое. Узнавание.

- Откуда вы знаете? - спросил он.

- Я вижу, - сказала я. - По кракелюрам. По мазкам. По натяжению холста. Лицо переписали. Скорее всего, в конце девятнадцатого. Тогда была мода на гладкие, «салонные» лица. Вот эту женщину и переделали. Сделали удобной.

Он долго молчал. Потом сказал:

- Это моя бабушка. Портрет висел в доме у неё. Она говорила: «Тут что-то не так, но я не знаю, что». Я вырос с этой картиной. И всегда чувствовал то же самое. Что под этим лицом - другое. Настоящее.

Словив настоящее дежавю, я посмотрела на картину.

- Я могу попробовать, - сказала я. - Но это долго. И сложно. И я не могу обещать, что под верхним слоем будет что-то, что вам понравится. Иногда люди прячут не красоту. Иногда - правду.

Он чуть подумал и кивнул.

- Я хочу правду. Даже если она некрасивая.

И вот тогда - в этот самый момент, стоя посреди мастерской, с грязными руками и в свитере с затяжками, который так не любил мой муж, - я вдруг почувствовала, что впервые за два дня мне не холодно!.. Что сквозняк, который гулял во мне с утра, стал тише. Может быть, потому что кто-то сказал: «я хочу правду». Может быть, потому, что кто-то смотрел на меня так, как будто я - не пустое место. И со мной считались...

- Хорошо, - сказала я. - Оставляйте. Я посмотрю. Через неделю скажу точнее по срокам и стоимости.

Он кивнул. Надел куртку и пошёл к двери. А на пороге обернулся:

- Вера, а можно нескромный вопрос?

Я пожала плечами. После вчерашнего я готова была к чему угодно.

- Вы всегда так смотрите на картины, как будто разговариваете с ними?

Я не сразу нашлась с ответом. Никто и никогда не спрашивал меня об этом. Кирилл за двенадцать лет ни разу не поинтересовался, что именно я делаю в мастерской. Он знал одно слово - «реставрирую» - и на этом его интерес заканчивался. А этот мужчина стоял в дверях, в куртке, с ключами в руке, и ждал ответа, как будто ему действительно было важно.

- Не всегда, - сказала я. - Только если картина отвечает.

Он не улыбнулся. Не хмыкнул. Не покрутил пальцем у виска, как сделал бы на его месте Кирилл. Он просто кивнул - медленно, серьёзно, как будто я сказала что-то абсолютно нормальное, - и сказал:

- Тогда, значит, эта отвечает.

Он уже взялся за дверную ручку, но снова замешкался.

- Ещё одно. Я вам не сказал, но… - он помолчал, подбирая слова. - Я не просто так приехал именно к вам. Мне дали ваш номер в музее, это правда. Но до этого я два месяца искал реставратора. Показывал картину трём специалистам. Все три сказали одно и то же: «Это копия, ничего интересного, верхний слой - девятнадцатый век, под ним ничего нет, не тратьте деньги».

Я насторожилась. Это был важный момент - из тех, что решают судьбу заказа.

- И почему вы им не поверили?

- Потому что они смотрели на картину. А вы, когда я вошёл, даже не подошли к ней сразу. Вы сначала посмотрели на свет. На то, как ложится лампа. На кракелюры по касательной. Как будто читали её. Понимаете? Они её осматривали. А вы её читали.

В мастерской стало тихо - слышно было только гудение лампы, да где-то внизу, на улице, перед открытым окном, кто-то отряхивал мокрый зонт.

- Я не обещаю результата, - сказала я, чтобы вернуть разговор в деловое русло, потому что чувствовала, что он уходит куда-то не туда. - Могу взяться за расчистку. Но если под верхним слоем окажется пустой холст или грубая запись - я остановлюсь и скажу вам честно.

- Договорились, - сказал он.

Потом помолчал ещё секунду и добавил - уже другим тоном, мягче, почти буднично:

- У вас тут холодно. Окно продувает. У меня в машине есть утеплитель для окон, рулон, остался от ремонта. Хотите, привезу в следующий раз? Не в качестве оплаты, а просто… Осень на дворе, а вы в одном свитере работаете.

Я опешила. Не от предложения - от того, с какой лёгкостью он его сделал. Как будто это ничего не стоило. Как будто заметить, что человеку холодно, - это самая простая вещь на свете.

Кирилл ни разу не спросил, не мёрзну ли я в мастерской. Он вообще ни разу в ней не был. За все двенадцать лет - ни разу.

- Привозите, - хрипло сказала я. И сама удивилась своей сентиментальности.

Мужчина предложил помощь. Деликатно и ненавязчиво… А я стою - почти что в слезах.

Это всё Кирилл со своим разводом виноват!

Андрей кивнул, открыл дверь и вышел. Я слышала, как его шаги стихают на лестнице - спокойные, неторопливые, - как хлопнула внизу входная дверь, как заурчал мотор. Машина была негромкая, старая, наверное, - совсем не похожая на ту, с другим звуком двигателя, который я научилась узнавать за последние полгода.

Я вернулась к мольберту. Взяла скальпель. Но не сразу начала работать. Сначала постояла, глядя на женщину с картины Андрея - на это гладкое, слишком правильное, зализанное лицо, под которым, я знала, пряталось другое.

- Ну что, - сказала я ей. - Посмотрим, что ты скрываешь.

И включила лампу поярче.

Глава 4. Секрет

Я взялась за картину Андрея на следующее утро - и не потому, что спешила, а потому что не могла иначе. Портрет XIXвека, та женщина с живыми глазами, стоял на дальнем мольберте, укрытый тканью, и ждал своей очереди, но я знала: пока я не разберусь с этой, второй, я не смогу вернуться к первой. Так бывает в реставрации: иногда две работы вдруг начинают перекликаться, как будто между ними есть невидимая связь, и ты невольно начинаешь искать в одной то, что нашла в другой.

Я сняла картину с мольберта и положила на стол - плашмя, лицом вверх, под лампу. Сначала - осмотр. Всегда сначала осмотр, как у врача: послушать, простучать, понять, чем дышит, где болит. Я провела пальцами по краю холста - грубый, домотканый, неровный, - и на ощупь определила, что основа старая, восемнадцатый, может быть, начало девятнадцатого. Потом наклонилась к поверхности и стала смотреть на кракелюры - не глазами даже, а как-то иначе, кожей, кончиками пальцев, дыханием. Сеть трещинок шла неравномерно: на фоне - густая, частая, как морщины на старом лице; на платье - реже; а на лице - почти отсутствовала. Гладко. Слишком гладко. Так бывает только в одном случае: лицо переписали. Позже. Поверх старого. И записали его плотно, глухо, без воздуха - так, что под ним не осталось ни дыхания, ни трещин, ни памяти.

Я взяла скальпель. И начала.

Работала медленно, как всегда, - ватный тампон, смоченный в мягком растворителе, лёгкими касаниями, миллиметр за миллиметром, - и первое, что ушло, был лак. Верхний, тёмный, пожелтевший от времени, он снимался тяжело, с сопротивлением, как снимается старая привычка: вроде и не нужна уже, а держится крепко, цепляется за всё, что под ней. Под лаком открылся верхний слой живописи - то самое гладкое, «салонное» лицо, которое я увидела ещё вчера. Женщина с тёмными волосами, с прямым спокойным взглядом, с чуть поджатыми губами. Красивая. И мёртвая.

Я работала по краю лица - от виска вниз, к скуле, - и на середине щеки ватный тампон вдруг пошёл легче. Слишком легко. Как будто верхний слой здесь был тоньше. Я замерла, наклонилась ближе, включила лампу боком - и увидела.

Под верхним слоем, у самого края скулы, проступала другая линия. Тонкая. Едва заметная. Но она была - живая, чуть изогнутая, не такая правильная, как та, что лежала сверху. Я провела по ней кончиком скальпеля - осторожно, почти не касаясь, - и вдруг поняла, что под верхним лицом есть ещё одно. Другое. Не копия. Не запись. Настоящее.

Я отложила скальпель. Села. Посидела минуту, глядя на эту тонкую линию, - и почувствовала, как внутри что-то разжалось, словно в груди лопнула струна, которую я давно не замечала.

Она была не такая. Женщина под верхним слоем была не такая.

Я снова взяла скальпель и стала работать - быстрее, чем следовало, хотя знала, что спешить нельзя. Но не могла. Не могла больше ждать. Слой за слоем, мазок за мазком, я снимала с неё чужое лицо - и оно уходило легко, почти охотно, как будто само хотело уйти, как будто ждало этого двести лет. Гладкая кожа сходила, обнажая живую, чуть шероховатую, с родинкой у виска, которой под верхним слоем не было. Правильные губы растворялись, и под ними проступали другие - мягче, чуть асимметричные, с затаённой улыбкой в левом уголке. Глаза, которые смотрели прямо и спокойно, менялись на другие - живые, чуть прищуренные, с морщинками в уголках, как у человека, который много смеялся.

Я работала четыре часа без перерыва. Не пила. Не ела. Не смотрела на телефон. И когда наконец отступила на шаг и включила свет полный - у меня перехватило дыхание.

На меня смотрела женщина с тёмными волосами, выбившимися из причёски. С живым, тёплым, чуть насмешливым взглядом. С родинкой у виска. С улыбкой, которая пряталась в уголке губ, как будто она знала что-то, чего не знал художник.

И - самое главное - она была похожа. На меня. Не лицом. Не чертами. А чем-то другим - выражением, что ли, тем, как она держала голову, тем, как смотрела. Как смотрят люди, которые умеют терпеть, но не умеют сдаваться.

Я села на табурет. Руки задрожали. Я смотрела на неё и не могла отвести глаз. Под верхним, парадным, удобным, мёртвым лицом - двести лет - пряталась эта. Живая и настоящая. Та, которую переписали, чтобы она вписалась в чужой дом, в чужие ожидания. Сделали удобной. Сделали правильной. Сделали такой, чтобы не смущала, не спрашивала, не спорила.

Я сидела и думала: а ведь я её знаю. Я знаю эту женщину. Я видела её каждый день в зеркале. Двенадцать лет.

И неожиданно - я сама не поняла, как это случилось, - я заплакала. Не тихо, как в первый вечер, а сильно, взахлёб, как плачут дети, которых слишком долго заставляли молчать.

Я плакала и смотрела на неё - на эту женщину, которую вернула к жизни, - и понимала, что плачу не о ней. О себе. О той, которую тоже переписали. О той, которая двенадцать лет позволяла наносить слой за слоем - «будь удобнее», «будь тише», «будь приличнее», «не высовывайся», «ты же жена директора», - пока под всем этим почти не осталось её.

Меня.

Я просидела так, наверное, полчаса. Потом умылась холодной водой, вытерла лицо рукавом свитера - тем самым, с затяжками, - и вернулась к столу.

- Ну вот, - сказала я. - Теперь ты свободна.

***

Андрей пришёл через три дня. Я не ждала его так скоро - думала, приедет к концу недели, как договаривались, - но в среду утром в дверь постучали, и на пороге стоял Андрей с большим рулоном в руках и с бумажным пакетом, из которого пахло кофе.

- Я обещал утеплитель, - сказал он вместо приветствия. - И подумал, что вы, наверное, опять без обеда.

Я посторонилась, пропуская его. Он вошёл, как и в первый раз, - тихо, не заполняя собой пространство, - положил рулон у окна, пакет - на подоконник рядом с чашкой, которая так и стояла там всё это время, и только потом обернулся и… замер.

Он смотрел не на меня - на свою картину. Она стояла на мольберте у окна, освещённая ровным утренним светом, - и на ней больше не было гладкого, правильного, «салонного» лица. На ней была женщина. Живая. Тёплая. С родинкой у виска. С улыбкой в уголке губ.

Он молчал долго. Я тоже молчала - ждала. Я знала, что сейчас будет: он подойдёт, наклонится, скажет «не может быть», или «это не она», или «что вы сделали», - так реагируют почти все, когда видят, что скрывалось под верхним слоем. Иногда хорошо. Иногда плохо. Иногда со слезами. Иногда с испугом.

Он подошёл. Остановился в шаге от мольберта. Смотрел - долго, не отрываясь, - и потом сказал тихо, почти шёпотом:

- Это она.

Я не поняла.

- Кто - она?

- Бабушка. - Он не обернулся. - Моя бабушка. Я её такой помню. В детстве. Она умерла, когда мне было двенадцать. Но я помню её лицо. Вот такое. Живое. Смеющееся. С родинкой…

- Как это возможно? Вы говорили, что это портрет бабушки…

- Сам не знаю. Фамильные черты?..

Он замолчал. Я смотрела на его спину - широкую, спокойную, - и видела, как у него дрогнули плечи. Один раз. Второй. Он не заплакал, но был близок к этому.

- Странно, правда? Совершенно другой человек… Та, поверхностная… - он кивнул на верхний слой, который я аккуратно собрала в отдельный конверт - на всякий случай, для истории, - «та, что была сверху, - это не она. Это… - он подбирал слово, - это как портрет для чужих. Для гостей. Вывеска! Бабушка рассказывала, что раньше женщин заставляли быть «приличной». Она была из обедневшего дворянского рода, вышла замуж не по любви, и… - он запнулся. - И всю жизнь притворялась. Играла роль. И, видимо, не одна она такая была…

Я стояла и слушала. И думала о том, что в мире, оказывается, нет ничего нового. Что всё это было! Двести лет назад. Сто лет назад. Вчера. Сегодня. Женщины, которых переписывают под чужие ожидания. Женщины, которые позволяют наносить слой за слоем. Женщины, под верхним, парадным, удобным лицом которых прячется живая, тёплая, настоящая - та, которую никто не видит.

- Я не ожидала, что будет такое, - сказала я честно. - Думала, найдётся другая версия портрета. Более ранняя. Но не настолько… другая.

- Да, - повторил он.

И наконец обернулся.

- Вы знаете, - сказал он, - я ведь не просто так привёз эту картину именно сейчас. Я собирался отдать её в музей. Два года собирался. Но всё не мог… И тут - развод, вы, ваш голос в трубке. И я подумал: нет. Пока не поздно - надо завершить дело.

- Почему сейчас?

- Потому что я тоже двенадцать лет притворялся, - сказал он просто. - Жил с женой, которую не любил. Работал на работе, которая мне не нравилась. Играл роль. «Успешный». «Приличный». «Удобный». А потом она ушла. Сама… Три месяца назад. И я вдруг понял, что не знаю, кто я без этой роли. Совсем. Ни одного дня не прожил как настоящий.

Потом кивнул на картину:

- И когда я увидел её - ту, что вы вернули, - я вдруг подумал: если она смогла вернуться, значит, и я смогу.

В мастерской стало тихо. За окном шёл дождь - мелкий, нудный, осенний, - и на подоконнике стояла чашка с отбитой ручкой. Готовый сюжет для картины - подумала я.

- Утеплитель, - сказала я наконец. - Давайте. Окно и правда продувает.

Он рассмеялся - коротко, тихо, как смеются люди, которые давно не смеялись, - и пошёл к рулону. Мы вместе приладили плёнку к раме - неумело, криво, с первого раза не получилось, со второго тоже, - и всё это время он что-то рассказывал: про бабушку, про её смех, про то, как она пекла пироги с вишней и всегда говорила «ешь, пока горячие, потом уже не то», про то, как он в детстве прятался у неё на кухне от родителей, и она никогда его не выдавала. И я слушала - и вдруг поняла, что мы разговариваем уже не десять минут. И не двадцать. А гораздо, гораздо дольше… И что мне не хочется, чтобы это заканчивалось.

Плёнка наконец легла ровно. Он отошёл на шаг, посмотрел на окно, потом на меня - и вдруг сказал:

- Слушайте. Я понимаю, что это, наверное, не очень уместно. Но у меня через неделю открывается небольшая выставка. Не моя - я просто помогаю с организацией. Частная коллекция, семейные портреты, в основном девятнадцатый век. И там будет одна работа, которую я хотел бы показать вам до того, как её увидят остальные. Похожая история. Тоже верхний слой. Тоже чужая рука.

Я не сразу ответила. Внутри что-то дёрнулось - не от слов, а от того, как он это сказал: не «приходите на выставку», не «составите компанию», а «я хотел бы показать вам». Как будто ему было важно именно моё мнение. Как будто я - человек, с которым он хочет что-то разделить.

- Когда? - спросила я.

- В пятницу. Вечером. Если вам удобно.

Я кивнула, сама не ожидая, что так легко соглашусь. Он тоже кивнул - коротко, сдержанно, без улыбки, но в глазах что-то мелькнуло.

- Тогда я заеду за вами. В шесть. Адрес скину.

Он пошёл к двери. Надел куртку. И уже взялся за ручку, когда я вдруг сказала:

- Андрей, спасибо за утеплитель. И за кофе. Я… я давно не пила кофе с кем-то так долго… В смысле - с кем-то, кто не торопится.

Он помолчал секунду, а потом улыбнулся:

- Я не тороплюсь.

И от этой улыбки его лицо стало моложе, мягче, будто он сбросил с себя ту деловую собранность, за которой прятался всё это время. Его тёмные волосы, аккуратно подстриженные, небрежно падали на лоб, и он не отбрасывал их, как будто ему было всё равно, как он выглядит.

А, может, наоборот, как будто он впервые за долгое время позволил себе не следить за этим; глаза цвета мокрого ноябрьского неба смотрели на меня спокойно, без оценки, без любопытства, без того, как обычно смотрят мужчины на женщин, - а с каким-то тихим, почти незнакомым мне узнаванием… И в уголках их собрались тонкие морщинки, которых не было видно, когда он молчал.

- До пятницы! - попрощался он и быстро вышел.

А я осталась стоять посреди мастерской, и слушать, как стихают его шаги на лестнице.

Я впервые за последние дни не чувствовала холода. Совсем.

Глава 5. Дерево

В пятницу я не знала, что надеть. Это было настолько нелепо, что я даже рассмеялась - стоя перед открытым шкафом, в котором висели вещи, купленные Кириллом или с его одобрения: «это тебе идёт», «это слишком просто», «это надевай, когда мы идём к партнёрам», - и ни одна из них не была моей. Я смотрела на них, как на чужие, и думала: господи, я двенадцать лет ходила в чужом. В прямом смысле. В платьях, которые выбирал не я. В цветах, которые он считал «правильными». В длине, которую он считал «приличной». Я была живой картиной, которую он вывешивал перед людьми, и даже не замечала, что рама-то не моя.

Я взяла старые джинсы. Потом подумала - нет, не на выставку. Потом взяла свитер с затяжками - нет, слишком по-домашнему. Потом, уже почти отчаявшись, нашла на дне шкафа тёмно-зелёное платье - простое, без украшений, из мягкой шерсти, которое я купила три года назад сама, без него, и которое Кирилл забраковал: «Ты в нём как учительница». Я тогда послушалась. Повесила его и забыла. А оно тем временем упало с вешалки и затерялось.

Теперь же, когда я его надела и посмотрела на себя в зеркало, отчетливо поняла: а ведь оно мне идёт! Простое. Без украшений.

Моё.

Ровно в шесть во дворе заурчал мотор - негромкий, старый…

Я вышла. Андрей стоял у машины, открыл мне дверь - не жестом, не манерно, а просто и спокойно, как делают люди, для которых это не ритуал, а естественное движение. И когда я садилась, я вдруг уловила запах - не одеколон, не парфюм, а что-то другое: дерево. Пахло сухим тёплым деревом.

Как в столярной мастерской.

- От вас пахнет деревом, - ляпнула я, сама не ожидая, что скажу это вслух.

Он коротко взглянул на меня, потом отвернулся, тронул машину с места и сказал:

- Я работаю с деревом. Мастерская внизу, под домом. Запах въедается.

- В каком смысле - работаете?

- Мебель, - сказал он. - Столы. Стеллажи. Рамы. Всё на заказ. Один, без партнёров.

Я замолчала. Внутри что-то щёлкнуло - тихо, но отчётливо. Я вдруг вспомнила, как он держал картину в первый раз - не как вещь, а как что-то живое, что нельзя уронить, нельзя сдвинуть, нельзя оставить без опоры. Я тогда отметила это, а теперь поняла: он не просто нёс картину. Он знал, из чего она сделана. Из чего сделана рама. Из чего сделана основа. Он читал её не как искусствовед - как мастер.

- А раньше? - спросила я.

- Раньше - стройка, - сказал он, и по голосу я поняла, что это не та тема, которую он любит. - Тринадцать лет. Проектирование. Согласования. Объекты. Сметы… Всё, что вы можете себе представить.

- Почему ушли?

Он молчал секунды три. Потом сказал:

- Потому что однажды понял, что построил кучу чужих домов, а своего так и не построил. Ни одного. Ни дома, ни стола, ни полки… Это даже не смешно как-то… Когда в твоей жизни только бумаги, подписи и совещания, не остается времени на хобби... А я с детства любил работать с деревом - отец научил. И когда жена ушла, я вдруг понял: у меня нет ничего, что я мог бы показать. Ни одной вещи, которую я сделал бы сам. Всё - чужое. Всё - сдано, подписано, забыто.

Он говорил спокойно. Без горечи. Без жалобы. Как человек, который давно всё разложил по полочкам - своим собственным, сделанным руками.

- И вы ушли, - подсказала я.

- Да, ушёл. Купил старый дом, внизу сделал мастерскую. И стал делать свои вещи. Медленно… По одной. Чтобы стояли сто лет.

Мы ехали молча. За окном проплывали улицы - мокрые, тёмные, осенние, но, глядя на них, в этом молчании… мне вдруг стало так хорошо!..

Не неловко, не пусто, не так, как было с Кириллом, который не выносил пауз и заполнял их словами, - а тепло. Как в мастерской, когда закрываешь дверь и остаёшься одна с картиной.

Только теперь - я была не одна.

- Я тоже ушла, - сказала я вдруг. - В смысле - не ушла. Меня… оставили. Две недели назад. Муж ушёл к другой.

Я не знала, зачем сказала это. Не собиралась. Оно вышло само - как выходит под верхним слоем то, что там всё время было.

Он не сказал «мне жаль». Не сказал «какой подлец». Не стал утешать, не стал давать советов, не стал рассказывать про свою бывшую. Он просто кивнул - медленно, серьёзно, как будто я сказала что-то важное и правильное, - и сказал:

- Тогда нужна простая рама. Без украшений. Чтобы не отвлекала.

Я не поняла.

- Что?

- Рама для картины. Для той, с родинкой. Я думаю, ей нужна простая рама. Тёмное дерево, без резьбы. Я сделал, пока вы работали.

Я обернулась и посмотрела на него. Он смотрел на дорогу - спокойно, ровно, не отвлекаясь, - как будто сказал нечто абсолютно обычное.

Словно сделать раму для чужой картины, не спросив, не обсудив, не договариваясь, - это то, что делают все. Каждый день. Просто так.

- Вы сделали раму? - переспросила я.

- Да.

- Не спросив меня?

- А зачем? - он на секунду взглянул на меня, и в глазах его я увидела то же самое, что и в первый раз, - узнавание. - Я видел картину. Видел, как она смотрит. Она не должна висеть в блестящей раме. Она должна висеть в простой. Я сделал простую.

Внутри меня разлилось странное чувство. Это было не недоверие, и не благодарность. Даже не удивление, а смесь из этого всего!..

Он сделал потому что увидел. Потому что понял.

- Из чего? - спросила я наконец.

- Орех, - сказал он. - Тёмный. Без покрытия. Только воск. Чтобы дышало.

- Как картина, - сказала я.

- Как картина, - согласился он.

***

Выставка была небольшой - три зала в старом особняке, который когда-то был чьим-то домом, а теперь принадлежал галерее. Высокие потолки, лепнина, дубовый паркет, который скрипел под ногами так, как скрипит только очень старая, очень хорошая древесина, - и свет. Свет был выставлен так, как я любила: не сверху, не в лоб, а чуть сбоку, скользящий, тёплый, - он не убивал картины, а наоборот, вытягивал из них то, что обычно прячется в тени: трещинки, мазки, дыхание холста.

Андрей вошёл первым и сразу стал другим. Не то чтобы он изменился - нет, он остался тем же: спокойным, тихим, не заполняющим пространство, - но теперь это пространство принадлежало ему.

Он знал здесь всё. Где щиток. Где климат-контроль. Где крепления. Он шёл и по пути машинально поправлял то, что было не так: где-то рама висела на миллиметр криво, где-то свет

падал слишком резко, где-то подпись была не на месте. Он не делал это напоказ. Он просто не мог иначе. Как я не могу пройти мимо картины с потёками лака и не поморщиться.

Я остановилась у первого полотна. Женский портрет. Тёмный фон. Спокойное лицо. И сразу почувствовала то, что чувствую всегда, - зуд под кожей, желание подойти ближе, наклониться, посмотреть на свет, провести пальцами по кракелюрам.

Это не профессиональное. Это что-то другое. Как голод. Как жажда. Я смотрю на картину - и мне хочется её прочитать. Не глазами - кожей. Дыханием…

- Вы сейчас снова с ней разговариваете, - сказал Андрей тихо, у самого моего плеча.

Я вздрогнула. Он подошел так близко, что я чувствовала запах дерева, который шёл от его свитера, - и смотрел не на картину, а на меня. На то, как я смотрю на картину.

- Я не разговариваю, - сказала я. - Я слушаю.

- И что она говорит?

Я помолчала. Посмотрела на холст, на тёмный, глухой фон, на спокойное лицо, которое кто-то написал очень давно и очень хорошо.

- Говорит, что ей тепло, - сказала я. - Что свет падает правильно. Что её давно так не рассматривали.

Он не сказал «интересно». Не сказал «вы удивительная». Он просто кивнул - как будто я сказала что-то абсолютно нормальное, - и остался стоять рядом.

Мы пошли дальше. И он не отходил ни на шаг. Не вёл меня за руку, не подстраховывал под локоть, не делал ничего, что делают мужчины, когда хотят показать, что женщина «при них», - он просто держался рядом, чуть позади или чуть сбоку, так, чтобы я всегда чувствовала его плечо. И я ловила себя на том, что замедляю шаг. Что мне нравится это чувствовать. Что я не хочу, чтобы он отходил.

У третьего зала нас встретил его друг - высокий, седой, в очках, с той лёгкой небрежностью в одежде, которая выдаёт человека, всю жизнь прожившего среди красивых вещей. Андрей представил нас коротко:

- Вера. Реставратор. Я про неё говорил. Игорь. Галерист. Хозяин всего этого безобразия.

Игорь посмотрел на меня - и я сразу поняла, что он смотрит не как на женщину, а как на человека, которого ему описали. И то, что он увидел, ему, кажется, понравилось. Он улыбнулся - открыто, тепло, без той оценивающей полуулыбки, к которой я привыкла с Кириллом, - и сказал:

- Андрей про вас рассказывал. Он вообще-то у меня молчун, вы не представляете. А тут вдруг - «она читает картины». Я не поверил. Думал, преувеличивает.

- И как? - спросила я.

- А вы вон ту видите? - он кивнул на небольшую работу в углу - женский портрет в тёмной раме, с мягким, чуть размытым светом. - Что скажете?

Я подошла. Посмотрела. Это была хорошая работа - не громкая, не парадная, из тех, что висят не для гостей, а для себя. Женщина на холсте смотрела чуть в сторону, и в её взгляде было что-то, от чего у меня защемило в груди. Не грусть. Не радость. Что-то человеческое…

- Она устала, - сказала я тихо. - Но не сдалась. Видите, как держит спину? Она могла бы ссутулиться, но не стала. И художник это увидел. Он её любил. Не как модель, а как человека.

Игорь замер. Потом обернулся к Андрею - и посмотрел на него так, как смотрят на человека, который оказался прав.

- Она права, - сказал он тихо. - Мы это знаем. Это его жена. Он писал её каждый год. Последний портрет - за месяц до её смерти. И вы… - он посмотрел на меня внимательно, - вы это увидели. Сразу. С расстояния.

- Я не с расстояния, - сказала я. - Я по свету. По тому, как он её поставил. Если бы не любил - поставил бы иначе.

Игорь посмотрел на меня - долго, внимательно, - и потом сказал Андрею, не мне:

- Она не преувеличивает. Она лучше, чем ты говорил.

Мы ходили по залам ещё час. Игорь не отходил - рассказывал про коллекцию, про владельцев, про то, как картины попадали к нему, - и всё это время поглядывал на меня с тем особым интересом, с каким смотрят на человека, который только что вошёл в твою жизнь и уже в ней что-то сдвинул.

А Андрей - Андрей молчал. Он просто шёл рядом. И я вдруг поняла, что за весь вечер он не сказал мне ни одного комплимента. Ни «вы красивая», ни «вы удивительная», ни «мне с вами хорошо».

Но он не отходил. Ни на шаг. И всё его внимание словно бы принадлежало одной мне.

Я тогда подумала, что это лучше любых комплиментов.

Когда мы уже одевались в холле, Игорь подошёл ко мне - и сказал, негромко, так, чтобы Андрей не слышал:

- Вера, я знаю Андрея десять лет… Он никогда ни о ком не говорил так, как о вас. Ни о ком. Запомните это.

Он пожал мне руку - крепко, по-мужски, без всякой снисходительности, - и отошёл к другим гостям.

Это признание меня шокировало!.. Я растерянно посмотрела ему вслед.

Он же не просто так мне намекнул?!

Потом обернулась. Андрей стоял у двери - в куртке, с ключами, - и ждал. Смотрел на меня, и в его глазах не было ни вопроса, ни ожидания, ни того, как обычно смотрят мужчины, когда хотят что-то получить...

- Пойдёмте, - сказал он. - Я вас отвезу.

Мы вышли. Осенний воздух ударил в лицо - холодный, мокрый, с запахом близкого снега. Он открыл мне дверь. Я села. И когда он завёл мотор, я вдруг сказала:

- Андрей, скажите, можно приехать к вам в мастерскую? Посмотреть на раму?.. На то, как вы работаете?..

Он помолчал секунду, а потом смущенно улыбнулся:

- Приезжайте завтра, - сказал он. - Адрес скину.

И я кивнула. Сама не ожидая, что так легко соглашусь.

Глава 6. Мастерская

Я приехала к нему в субботу утром - в двенадцать, как договорились, - и ещё на подходе поняла, что это не просто дом. Это был старый флигель в глубине двора, за низкой кирпичной оградой, увитой плющом, который уже пожелтел и кое-где осыпался, обнажая красную кладку. Дом был приземистый, длинный, с широкими окнами и высокой двускатной крышей, и от него пахло - я почувствовала это ещё от калитки - деревом. Не лаком, не краской, а именно деревом: сухим, тёплым, живым.

Андрей вышел навстречу. Не в куртке - в старом свитере с закатанными рукавами и в фартуке, из тех, что носят столяры: плотный, тёмный, с карманами, весь в мелких занозах и следах от карандаша. Он вытирал руки о тряпку, и я вдруг увидела их близко - большие, с длинными пальцами, с коротко подстриженными ногтями, все в мелких порезах и ссадинах, с мозолями на подушечках, которые не сходят, если работать руками каждый день. Он не протянул мне руку - постеснялся, наверное, или просто забыл, - и от этого стало только лучше.

- Проходите, - сказал он. - Только там сейчас… не прибрано.

- Я работаю в мастерской, где вечно пахнет скипидаром и всё заляпано лаком, - сказала я. - Меня трудно испугать.

Он улыбнулся - коротко, в сторону, - и пропустил меня вперёд.

Внутри было низко и просторно, как бывает в старых мастерских: потолок на балках, окна почти до пола, и свет - густой, мягкий, осенний, - который ложился на верстак длинными тёплыми полосами. Вдоль стен стояли стеллажи с досками - сосна, дуб, орех, - и доски пахли так, что у меня закружилась голова: смолой, пылью, чем-то очень старым и очень спокойным. На полу - стружки. Много. Они лежали завитками, как кудри, и хрустели под ногами. На верстаке - рубанки, стамески, киянки, длинная линейка, карандаш, стёртый почти до огрызка, и - я увидела это сразу - готовая рама.

Она стояла у окна, прислонённая к стене. Тёмная. Простая. Без резьбы, без позолоты, без всего того, что делает раму громче картины. Только дерево - орех, я узнала его по глубокому шоколадному цвету с чуть рыжеватым отливом, - и воск, который не блестел, а мягко, матово светился, как светится кожа.

Я подошла. Провела пальцами по краю. Дерево было гладким - не от лака, а от шлифовки, - и тёплым, как будто его только что держали в руках.

- Она красивая, - сказала я.

- Она простая, - сказал он.

- Это и есть красивая.

Он ничего не ответил. Но я почувствовала, что он смотрит. Не на раму - на меня. На то, как я трогаю дерево, как провожу по нему пальцами, как наклоняюсь и смотрю на срез, на текстуру, на то, как волокна идут вдоль, огибая сучок. Я делала это не думая - так же, как с картинами. Просто рука сама.

- Вы её читаете, - сказал он тихо.

Я обернулась. Он стоял у верстака, скрестив руки, и смотрел на меня с тем самым выражением, которое я уже видела - узнавание. Как будто он ждал, что я буду смотреть именно так, и дождался.

- Я её слушаю, - поправила я.

- И что она говорит?

Я снова повернулась к раме. Положила ладонь на верхний брус - плоский, чуть скошенный к внутреннему краю.

- Говорит, что вы не торопились, - сказала я. - Что делали её долго. И что думали о том, кто в неё встанет.

Он помолчал.

- Я всегда думаю о том, кто встанет, - сказал он просто.

И от этих слов - не громких, не красивых, обычных - у меня внутри что-то сжалось. Я вспомнила Кирилла, который за двенадцать лет не спросил ни разу, о чём я думаю, когда работаю. И который покупал мебель не думая - по каталогу, по цене, по тому, что «солидно».

Андрей подошёл и встал рядом - не близко, на расстоянии шага, - и мы оба посмотрели на раму. Молчали. В мастерской было тихо: только где-то на улице капала вода с карниза, да в углу потрескивало дерево, остывая или нагреваясь - я так и не поняла.

- Хотите посмотреть, как я работаю? - спросил он.

- Хочу.

Он подошёл к верстаку, взял рубанок - старый, с деревянной колодкой, отполированной ладонями до блеска, - и взял доску. Сосновую, светлую, с ровными волокнами. И начал строгать.

Я никогда не видела, как работает столяр. Я видела, как работают реставраторы, как работают художники, как работают скульпторы, - но это было другое. Он не «делал» - он слушал. Каждое движение было медленным, точным, без лишнего. Рубанок шёл по доске, и стружка поднималась завитком - тонким, почти прозрачным, - и падала на пол. Он строгал вдоль волокна, потом поперёк, потом снова вдоль, и от этого доска становилась гладкой - не сразу, а постепенно, как проступает изображение под снятым лаком. Я стояла и смотрела. Долго. И не могла отвести глаз.

- Вы сейчас смотрите так же, как на картины, - сказал он, не поднимая головы.

- Потому что это то же самое, - сказала я.

Он остановился. Поднял на меня глаза.

- Что - то же самое?

- Вы снимаете слой. За слоем. Пока не дойдёте до того, что было. Только у вас не лак и не краска. У вас - время.

Он долго молчал. Потом отложил рубанок, взял тряпку и стал вытирать руки - медленно, не глядя, - и я вдруг поняла, что попала!.. Что сказала то, что он думает сам, но никогда никому не говорил.

И между нами сейчас что-то встало - не рама, не доска, не верстак, - а что-то большее, чем слова - наше призвание.

- Вера, - сказал он.

- Да?

Он хотел что-то сказать, но замешкался... Я видела, как он подбирает слова - словно подбирает нужный инструмент, но не успел.

Потому что зазвонил телефон.

Мой.

Тот, личный, который я обычно держала в сумке, но сегодня, уходя, сунула в карман пальто - на автомате.

Я вытащила его, посмотрела на экран - и внутри всё оборвалось.

Кирилл.

Я не хотела отвечать. Но что-то - привычка, двенадцать лет, автоматизм, - заставило меня нажать «принять».

Я отошла к окну. Андрей остался у верстака - не подошёл, не отошёл, просто остался стоять.

- Да, - сказала я.

- Вера. Привет. - Голос был деловой, ровный, без «как ты» и без «извини». - Я по делу. Ты дома?

- Нет.

- Неважно. Слушай. Я приеду на неделе, заберу кое-что.

Я промолчала. Он вроде много всего забрал. Потом Кирилл добавил:

- Шкаф. Тот, что в гостиной. Я хочу его забрать.

Я замерла. Шкаф. Тот самый. Старинный, ореховый, с резными дверцами и зеркалом в полный рост, - который мы купили на первую годовщину. Который я нашла сама, на блошином рынке в Измайлово, и уговорила его взять - он тогда сказал «зачем нам это старьё», а я сказала «потому что оно живое», и он сдался.

Шкаф, который я реставрировала сама - три месяца, по вечерам, после работы, - снимала слой за слоем, чистила, покрывала воском, и который он потом показывал гостям со словами «это Вера, у неё руки золотые». Единственное, что в том доме я сделала сама. Своими руками.

- Нет, - сказала я.

- Что - нет?

- Шкаф ты не заберёшь.

Он усмехнулся - я услышала это по дыханию.

- Вера, не смеши меня. Он стоит денег. Я имею право…

- Он не стоит денег, - сказала я, и голос у меня был ровный, спокойный, почти чужой. - Он стоит трёх месяцев моей работы. Я его нашла. Я его купила - на свои, между прочим. Я его реставрировала. Он мой.

- Ты хочешь сказать…

- Я хочу сказать, что ты можешь забрать всё, что купил сам. Телевизор. Диван. Машину. Всё. Но шкаф ты не заберёшь. Это не вещь. Это моя работа.

Он молчал. Долго. Я слышала, как он дышит - тяжело, с раздражением, - и знала, что сейчас будет. Знала по двенадцати годам: когда Кирилл молчит, он не думает. Он закипает.

- Ты пожалеешь, - сказал он.

- Не пожалею.

- Я тебя предупредил, Вера. Я тебя по-хорошему…

- Кирилл, - перебила я, и вдруг поняла, что больше не боюсь. Совсем. - Ты мне не угрожай. Ты уже сделал всё, что мог. Ушёл. Подал на развод. Нашёл себе новую. Что ещё? Квартиру отберёшь? Машину? Что?

Он молчал. И в этом молчании было что-то такое, от чего по спине пробежали мурашки.

- Ты не знаешь, с кем связываешься, - сказал он тихо. - Ты думаешь, ты сильная. Ты думаешь, ты справишься. А я тебя раздавлю… Я тебе обещаю.

Он говорил это ровно, без крика. И от этого было страшнее. Я стояла у окна, смотрела на мокрый двор, на плющ, на жёлтые листья, прилипшие к стеклу, - и чувствовала, как внутри всё сжимается и разжимается, как будто кто-то невидимый трогает струну.

- До свидания, Кирилл, - сказала я.

И нажала «отбой».

Я постояла ещё секунду. Потом сунула телефон в карман, глубоко вздохнула - раз, другой, - и обернулась.

Андрей стоял у верстака и не двигался. И в том, как он стоял, было столько такта, столько уважения к тому, что я сейчас пережила, что у меня защипало в глазах.

- Извините, - сказала я.

- Не извиняйтесь, - сказал он.

Он не спросил «кто это был». Не спросил «что случилось». Не спросил «всё в порядке». Он подошёл к верстаку, взял со стеллажа небольшой кусок дерева - орех, тёмный, с красивым срезом - и протянул мне.

- Вот, - сказал он. - Это обрезок от рамы. От той самой. Возьмите.

Я взяла. Он был маленький, тёплый, гладкий, с одной стороны - срез, с другой - нетронутая кора.

- Зачем?

- Чтобы помнить, - сказал он. - Что вы сделали себя сами. Не он. Вы.

Я смотрела на этот кусок дерева в своей ладони - и вдруг поняла, что плачу. Тихо, без всхлипов, просто слёзы, которые я даже не пыталась остановить. Он не подошёл. Не обнял. Не сказал «всё будет хорошо». Он просто стоял рядом - на расстоянии шага, - и ждал, пока я вытру лицо рукавом.

- Спасибо, - сказала я.

- За что?

- За то, что не спросили.

Он кивнул. И мы вернулись к верстаку.

Он снова взял рубанок. И я снова стала смотреть.

И в мастерской было тихо - только капала вода за окном, да пахло деревом, и в кармане джинсов лежала деревяшка, которую я то и дело нащупывала и сжимала в руке.

Глава 7. Стол

Жизнь продолжалась… Я уже по даже привыкла вставать без Кирилла, жить в пустой квартире и не отчитываться перед ним по каждому поводу.

Привыкла иногда думать о новом знакомом, вспоминать тот день в мастерской. Оказывается, так приятно наблюдать за работой мастера!..

…Татьяна появилась в моей мастерской в четверг - без звонка, без предупреждения, просто открыла дверь, вошла, стряхнула с плеч мокрый снег и уселась на табурет у окна. Она стянула шапку, посмотрела на меня так, как смотрят люди, у которых накопилось много вопросов, и спросила:

- Ты почему не сказала, что у тебя новый мужчина?

Я как раз стояла у мольберта - работала над левым плечом женщины с картины XIXвека, снимала последние следы верхнего слоя, - и от неожиданности чуть не сдвинула скальпель.

Обернулась. Татьяна сидела, скрестив руки, в своей неизменной чёрной водолазке, с волосами, забранными в небрежный пучок, и смотрела на меня с той самой иронией, которая за двадцать лет дружбы никуда не делась.

- С чего ты взяла? - спросила я.

- С того, что мне Игорь позвонил, - сказала она. - Игорь, галерист. Тот самый, у которого ты была на выставке. Он мне сказал: «Твоя Вера произвела фурор. Было приятно с ней, наконец, познакомиться… Андрей Сергеевич про неё говорит больше, чем про свою коллекцию». А я, знаешь ли, даже не знала, что у тебя есть Андрей Сергеевич.

Я отложила скальпель. Взяла тряпку, вытерла руки - медленно, не торопясь, - и только потом ответила:

- Он не мой мужчина. Он клиент.

- Клиент, - повторила Татьяна. - Клиент, который… делает тебе рамы, как сказал Игорь. Или я что-то не поняла?!

- Он делает рамы на заказ. Я реставрирую его картину… - чуть покраснев, объяснила я, - Это работа.

- Ага, - сказала она. - И поэтому ты покраснела.

- Это из-за твоих намёков!..

- Ты покраснела, Вера. Я тебя двадцать лет знаю. Ты краснеешь, когда врёшь. И когда влюбляешься. Обычно - одновременно.

Я хотела возразить, но не стала. Потому что Татьяна была права - не в том, что я влюбилась, а в том, что я эмоционально реагирую на ложь. Мне всегда стыдно обманывать, даже из лучших побуждений.

- Ладно, - отмахнулась я. - Неважно… Ты пришла-то зачем?

Татьяна хлопнула себя по коленям - жест, который у неё всегда означал «переходим к делу».

- Мне нужен стол, - сказала она. – Клиент требует. Молодой, богатый, с квартирой в сталинке на Фрунзенской. Хочет обеденный стол из массива ореха, как раньше... Сдвинулся на этом ретро, я уже не знаю, куда бежать… Ему надо обязательно ручной работы, чтобы дышал... Без этого вашего… - она покрутила рукой в воздухе, - без лака, без пластика, без всего, что убивает дерево. Я уже трёх мебельщиков обзвонила - все говорят «сделаем из сосны, покрасим под орех». А мне нужен настоящий орех. С деньгами проблем нет, он оплатит любой… Но я не могу обратиться к первому попавшемуся мастеру. А вдруг он начудит, стол рухнет – а отвечать мне?!.. О, нет! Только проверенные люди, Вер. Это и моя репутация тоже… Кстати, ты знаешь кого-нибудь, кто может помочь?.. Ну хоть по слухам, там?..

Я помолчала секунды три. Потом улыбнулась:

- Так вышло, что знаю.

- Давай телефон, адрес, сколько лет в деле… - деловито затараторила подруга и вытащила смартфон, - Ты же знаешь, мои поставщики заслуживают самого лучшего. Плюс моя комиссия… И тебе 1% за рекомендацию, подруга.

- Андрей, у него дом в пригороде...

Татьяна прищурилась.

- Это тот самый Андрей, который клиент?.. Или тут развелось слишком много Андреев на квадратный метр?

- А тебе Игорь не говорил про его хобби?

- Я не спрашивала, - честно призналась подруга, - Звонила только Петровским, Орлову и Городищенским… И к тебе вот заскочила. Да и Игорь, он … ну скользкий такой. Тебе я больше доверяю.

- Гранд мерси! - улыбнулась я, - Да, это тот самый Андрей, который делает рамы. А еще столы, стеллажи, тумбочки... Всё вручную. Работает один, эксклюзивная работа... Видела у него орех, ясень, дуб… Кажется, сосны не было. Если ты хочешь, чтобы стол дышал, - тебе к нему.

Татьяна смотрела на меня так, словно не верила своим ушам.

- То есть, я приехала как раз вовремя?

- Да. Он позавчера привёз мне в подарок, - я немного засмущалась, но всё-таки пошла к тумбочке и вытащила из-под нее продолговатую коробку:

- Посмотри, какая прелесть.

Андрей привёз два дня назад. Я не сказала об этом Татьяне, но сама до сих пор не могла привыкнуть к щедрости незнакомого мужчины: он приехал вечером, без звонка, с большой плоской коробкой в руках, поставил её у двери, сказал «это вам» и уехал, не дожидаясь ответа. Я развернула её уже без него, одна, при свете лампы, - и замерла.

Рама была не простая. Тёмный орех, глубокий, почти чёрный, с чуть заметной рыжиной на срезах. Но главное было не в дереве - главное было в резьбе. По верхнему брусу вился тонкий растительный узор - не громкий, не парадный, а какой-то тихий, почти неслышный, - и в этом узоре прятались мелкие детали: листья, стебли, маленькая птица, сидящая на ветке, и - я заметила это не сразу, - едва различимая женская фигура в длинном платье, стоящая у дерева и смотрящая вдаль. Резьба была неглубокая, но живая. Как будто художник не вырезал её, а просто снял лишнее дерево, чтобы выпустить наружу то, что там всегда было.

Я не знала, что вставить в эту раму. Я думала о картине - но у меня не было такой, что подошла бы. Думала о фотографии - но не могла представить, какую. Рама была красивая.

Слишком красивая для чего-то случайного.

Она ждала подходящего наполнения...

Татьяна подошла, наклонилась, провела пальцами по резьбе - так же, как я, - и замерла.

- Это он сделал? - спросила тихо.

- Он.

- За сколько?!..

- Он не сказал.

Татьяна подняла на меня глаза.

- Вера!.. Он сделал для тебя раму с резьбой ручной работы из настоящего ореха и не взял денег. И ты говоришь, что он тебе не мужчина?!

- Я говорю, что он - клиент.

- Клиенты не разбрасываются подарками за сотни тысяч, - покачала головой подруга. - Клиенты платят деньги и уходят. А это… - она снова провела пальцем по резьбе, - это не работа, это признание в любви!..

- Скажешь тоже! - отмахнулась я.

Но мне было приятно. И то тепло, что шло от рамы, от работы над нею, никак не могло быть «просто так».

- Ладно, - сказала Татьяна, выпрямляясь. - Позвони ему. Спроси, можно ли приехать прямо сейчас?.. Я уже неделю ищу мастера, и нет времени размусоливать. Я хочу увидеть его мастерскую.

Я взяла телефон, нашла номер - и нажала «вызов». Он ответил после второго гудка.

- Вера? - сказал он, и в его голосе было что-то такое, от чего у меня внутри всё сжалось – настоящая тревога... за меня! - Что-то случилось?

- Нет, - сказала я. - Всё в порядке. Просто… у меня сейчас в мастерской подруга. Татьяна… Она дизайнер интерьеров. И ей нужен стол из ореха ручной работы. На заказ, по определенным размерам… Я сказала, что вы можете помочь.

Он помолчал секунду. Потом сказал:

- Приезжайте. Я сегодня дома.

- Мы будем через час, - сказала я и положила трубку.

Татьяна смотрела на меня с той самой улыбкой, которую я ненавидела больше всего, - с улыбкой человека, который знает всё.

- «Вы», - сказала она. - Ты говоришь ему «вы»?

- А что, надо «ты»?

- Надо хотя бы уже определиться, - сказала Татьяна и встала. - Поехали. Я на машине.

Машина у Татьяны была старая, но хорошая - тёмно-синий «Вольво», который она купила три года назад после удачного проекта и с тех пор любила больше, чем мужа. Она вела уверенно, чуть резковато, как делала всё в жизни, - и по дороге рассказывала про клиента, про стол, про то, что «этот мальчик из новых, у него денег куры не клюют, но он хочет не блеск, а душу, начитался статей в интернете», а я слушала и кивала, а сама думала о том, что скажет Андрей, когда увидит Татьяну.

И что скажет Татьяна, когда увидит Андрея?..

Я почему-то волновалась. Хотя не должна была… Повода нет. Это всего лишь работа…

У меня самой развод на носу. А я думаю о каких-то глупостях!

Татьяна - дизайнер. Андрей - мастер. Они могут друг другу помочь. Ничего больше.

Но я всё равно волновалась. Всю дорогу. До самого дома.

Мастерская Андрея встретила нас тем же запахом - сухое дерево, стружка, что-то тёплое, старое, спокойное. Я вошла первой. Татьяна - за мной. И сразу поняла, что здесь не просто работают - здесь живут.

- Господи, - сказала Татьяна тихо, оглядываясь. - Это… это же не мастерская. Это дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.